

Маргерит ЯНГ

Перевод с английского Микиты Неймана

От переводчика: Маргерет Вивиан Янг (1908–1995) – американская поэтесса, прозаик, эссеистка и преподавательница творческого письма. Родилась в Индианаполисе, окончила Батлеровский университет, защитила магистерскую диссертацию по литературе эпохи Елизаветы I и Якова I в Чикагском университете и докторскую диссертацию в Университете Айовы. Преподавала в знаменитой Айовской писательской мастерской, Фордемском университете и Новой школе социальных исследований.

Автор двух поэтических сборников, двух историко-утопических исследований, книги эссе и масштабного экспериментального романа «Мисс Макинтош, моя дорогая» (1965), приобретшего сегодня статус культового. Её проза отличается барочной пышностью и поэтичностью. В Нью-Йорке Янг была видной и яркой фигурой Гринвич-Виллидж, входила в круг Карсон Маккаллера, Трумана Капоте, Анаис Нин, Фланнери О'Коннор и Ричарда Райта.

Отдельное место в её творчестве занимает короткая проза – в сборник «Приглашая муз» (Young M. Inviting the Muses: Stories, Essays, Reviews. 1st ed. Normal, IL: Dalkey Archive Press, 1994. 246 p.) вошли три рассказа: «Старик Джеймс» (См.: <https://kongresswpress.ru/oldjames>), «Бабушкина нога» и «Покойницы». В них отчётливо прослеживается экзистенциальная тревога и трагизм эпохи Второй мировой войны. При этом первые два рассказа пронизаны тончайшей иронией, а в «Бабушкиной ноге» эта ирония выливается в чистейший гротеск.

РАССКАЗЫ

Покойницы

Леда расчёсывала волосы старушки. Они были редкими и безжизненными, белизна делала их почти прозрачными, но она плавно, ловкими пальцами зачёсывала эти тонкие пряди на проплешины. Всё равно что серебристый пушок на заиндевевшем камне.

Леда отступила на шаг, оглядывая плоды часового труда. Пожалуй, больше тут делать нечего. Нет, будет неправильно румянить лицо этой увядшей деревенской женщины. Так она выглядела куда естественнее: со всеми своими морщинами, плоской грудью и пугающе неподвижными ступнями в добротных ношеных башмаках. Ей куда больше шли эти крупные коричневые пятна на щеках и сложенных руках, похожие на следы от прелой листвы. В таком виде Господь сможет её узнать. В таком виде она и сама бы себя узнала – с искривлёнными костями сгорбленной спины и замершим трепетом сердца.

Пока Леда вглядывалась в свою подопечную, мыслями уносясь куда-то далеко, она услышала, как со стуком распахнулась дверь, и почувствовала, как ветер резанул её по плечам, словно ножом. Но она не пошевелилась. Напротив, вся подобралась, обратив своё внимание на старушку – такую хрупкую, такую одинокую, чья жизнь была так бесповоротно и окончательно завершена. А свёкру не мешало бы поумерить свой игривый пыл – как сейчас, когда он дышал ей в затылок, а в глазницах блестели глаза-самоцветы.

Ей хотелось лишь только, чтобы её оставили в покое.

– И чего ты тут торчишь, – бросил он, – в такой-то чудесный день?

– Чудесный? – отрешённо отозвалась Леда. Она смотрела на мух, застывших на потолке в свете дуговой лампы, и чувствовала сладковатый запах крови, повисший в спёртом воздухе. – Чудесный? А я и не заметила.

У неё не было времени выглядывать наружу – льёт ли там дождь или светит солнце. Не мешало бы напомнить ему, чем он здесь должен заниматься!

– Она готова, можно вывозить в зал, – отчеканила Леда.

– Чем же ты тут занималась целую вечность?

Боже милостивый, уж он-то сам успел сделать предостаточно. Более занятого человека свет не видывал: он то строил, то сносил дома, то надзирал за рабочими. Он и сам успел вскарабкаться по паре лестниц. А ещё одолжил денег у Билли Хенери, который по весне отработает долг, покрасив ему амбар. А ещё съездил выбить должок с Андерсонов – те задолжали за аренду аж с прошлого Рождества. Одно, другое. Кстати, борова-то тогда из-под носа увёл именно Гай Андерсон.

– Потом сбегал проверить, как там дела на ферме, – вдохновенно добавил он. Он рассмеялся ей прямо в ухо, готовый выдать очередную шутку: – И какой сюрприз, думаешь, преподнесла сегодня утром наша гернзейка, а, Леда?

Леда пожала плечами. Её это совершенно не заботило. Она и так могла догадаться: речь наверняка пойдёт об очередном приплоде. Ей же хотелось поговорить о том, что было ближе и насущнее.

– К этой бедной старушке сегодня утром пришёл лишь один человек, – объясняла она, – её дочь-калека – в жизни у неё не сложилось. Та, у которой нет ноги. Она принесла астры, пришитые к бумажному сердцу. Других цветов у неё не будет. Самые обычные астры, какие везде растут.

Свёкор выразил сожаление, но отделался общими фразами. Джоанам было не свойственно рассуждать о столь высоких материях. Они попросту не отваживались на размышления, как он частенько пояснял. Поэтому он лишь привычно покачал головой в знак огорчения.

– Таковы уж издержки нашего дела, милочка, – сказал он. – Ничего не попишешь. Но вот взять хоть ту гернзейку, о которой я говорил. Сегодня поутру она отелилась двойней, да только телята – чёрные как смоль. Надеюсь, ты-то не принесёшь Тому в подоле такой сюрприз, а, Леда?

Он вечно подшучивал над её положением, не стесняясь даже совершенно посторонних людей. И вот теперь решил сравнить её с гернзейской коровой, которая сорвалась и нагуляла телят на чужом пастбище.

– Но до чего же хорошенькие, Леда, и такие неуклюжие – как все новорождённые. А уж корова-то как гордилась своей проделкой! Наотрез отказывалась меня слушаться.

Леда невольно улыбнулась.

– И всё-таки, свёкор! К мёртвым нужно иметь хоть какое-то уважение, – напомнила она. – Нам не следует вести такие разговоры, по крайней мере, здесь.

– Вздор. Мёртвые нас не слышат. Мне, по крайней мере, с таким сталкиваться не приходилось. Том вот совсем крохой спокойно забирался в гробы. И твой малыш будет. Том ни капельки не боялся. Так и вырос без этого страха.

Он взял её под руку, и они двинулись к двери в зал, а он продолжал:

– Видела бы ты тех овец, Леда. Они паслись на склоне холма среди сорной травы и на этот раз подпустили меня совсем близко. Привыкнут к моим порядкам. Пока-то они понимают, что для меня ферма – такая же новинка, как и для них.

– Но только не для меня, свёкор, – отрешённо ответила она.

– Что, неужто он ещё не толкается? Неужели не чувствуешь, как внутри у тебя бьётся дитя? Ты не стесняйся, говори.

– Побойтесь Бога, свёкор, как же я могу – ведь на дворе только октябрь? Рано ещё. – Леда прислонилась к стене и вздохнула: – Пожалуйста, не донимайте меня сейчас.

Леде пришлось немало потрудиться. На сей раз на столе лежала молодая девушка – дикая и неловкая, точно жеребёнок на лугу.

Казалось, ей всё ещё хотелось вырваться, рвануть прочь, чтобы волосы развевались по ветру. Леда не судила её. Дикой юности так трудно даётся покой. Эта девица смотрела так, будто готова была в любой миг открыть глаза и спросить: «Ты ещё кто такая?!»

А потом ей непременно захочется подняться и промочить горло. В какой хмельной омут увлекла её эта длинная ночь! Всё как в тумане. Где же она всё-таки была? Вспомнить не удавалось. Ах да, теперь всё прояснилось. Торчала в салуне, плясала с Чарли, Джонни и Гарри. Со всеми ребятами! Кто-то бросает пятицентовик в автомат, и музыка гремит. А потом они коленца выделывают с Билли Стивенсом. Кругом хохот. Старый пёс слизывает пиво с пола. А под столами кабинок в корзинах спят младенцы.

«Ну я и сорвался, – выкрикивает чей-то громкий голос, – да как врезал ей! После такого она ко мне больше не лезла». Она затихает. Кто-то бросает в автомат ещё пятицентовик, и танцы продолжаются.

– Бедное дитя, – прошептала Леда.

Она слегка прикоснулась пуховкой с румянами к лицу покойницы.

Того и гляди удастся придать усопшей такой вид, будто сегодня вечером её всё-таки ждут танцы. Леда старалась не поднимать румяна слишком высоко, лишь притронулась помадой к губам, затем вывела тонкую дугу бровей. Потом – высокая причёска, щипцы для завивки желтоватых кудрей. И, пожалуй, капля синих теней. Субботний вечер как-никак, и девушка снова готова выпорхнуть, повеселиться с Чарли, Джонни и Джо. Оп-ля! Леда улыбнулась. Теперь она ощущала себя настоящей мастерицей красоты – именно к этому она всегда и стремилась. Она сделала всё, чтобы эта женщина выглядела безупречно. Вышло, в самом деле, ничего.

– Почти готово, – сказала она.

Свёкор, как водится, принялся оценивать.

– Отлично сработано, девочка моя, – сказал он. – Уж ты-то умеешь сделать так, чтоб всё выглядело как в жизни, умеешь? А как я сегодня намаялся – с этой больной ногой, да и вообще. – Он снял перчатки и бросил фартук на стул. – Неужто тебе меня ничуть не жаль? – спросил он. Он хромал из угла в угол, нарочито корчась от боли, точно мальчишка, играющий на публику. Ему хотелось, чтобы она обратила внимание на его больную ногу, на которую вчера на ферме наступил телёнок. – Один из тех, что она нагуляла, – пояснил он.

– Она как живая, свёкор. Того и гляди глаза откроет.

– Вряд ли.

– Она кажется такой умиротворённой. Будто никогда больше не произнесёт ни единого бранного слова. А только ласковые и добрые.

– Проклятый кран, – неожиданно воскликнул он. – Капает и тратит воду.

– Мне-то что.

– Ну, это, верно, оттого что у тебя голова другим занята. Что, не чувствуешь ещё, как толкается? Не чувствуешь внутри себя малыша?

– Побойтесь Бога, свёкор, да как же, ведь на дворе только ноябрь?

Но он-то знал: ребёнку уже пора толкаться. И ей следовало бы побольше бывать на воздухе, гулять на ветру. День стоял чудесный, луга повсюду пестрели первыми островками снега, а морозец едва прихватывал дыхание. Ей нужно чаще выходить из дому.

– Я и так гуляю, свёкор, каждый день, – вздохнула Леда, пока они поднимались по узкой лестнице в гостиную. – Можете спросить у Тома. Или у доктора. Но на улице холодно. Слишком холодно.

Ноги наливались тяжестью, голова слегка кружилась. Ей скоро рожать, определённо. Она ощущала себя двумя женщинами сразу – собой и кем-то ещё. И всё же сидеть не хотелось: сядешь – и, чего доброго, больше не поднимешься. По утрам ей даже с кровати встать было трудно, Тому приходилось помогать. От кофе её тошнило. Свои волосы она

давно не завивала. Сама себе казалась дурнушкой. «Сил нет даже руку поднять», – думала она. Ах, стать бы снова тоненькой! Свёкор вечно целовал её под веточкой остролиста над дверью у лестницы. Поумерил бы он свой задор!

Леда старалась ни на минуту не оставаться без дела. Останавливаться было нельзя. Теперь на столе лежал старик – долговязый (настолько, что для него пришлось сколачивать особый гроб), тощий-претощий и очень серый. Никто не вызывает такой жалости, как старый человек. Леда понятия не имела, кто он такой. Это мог быть любой старик: её свёкор, муж или сын. Какая, в сущности, разница. Кто-то нашёл его за городом, в старой лачуге: он сидел, сунув ноги в печную золу – сидел так весь день, и за день до этого тоже, – иззябший до того, что хрустел, точно сухая бумага. Тонкий, как бумага. Том взвалил его на спину и принёс, совсем как ребёнка. Но Леда не знала, чем тут помочь.

– Разве что похоронить его с удочкой, – сказала она, – в старой дырявой шляпе.

Тем же вечером свёкор устроил в парадной гостиной рождественский праздник для всех окрестных бедных детей. Ей было слышно, как они галдят и перекликаются, играя в жмурки.

Но громче всех звучал его голос – он всем давал указания.

– А ну-ка без жульничества, кому говорю! – кричал он.

О, никаких подарков не предполагалось. Ни тебе карты мира, ни игрушечной железной дороги, ни корабликов, ни аэропланов, ни ружей, ни солдатиков. Ничего. Впрочем, Леда знала: он своего не упустит. Уж он-то отведёт душу, когда начнут тянуть гостинцы из мешка с сюрпризами. А потом будут раздавать попкорн и яблоки, и ей придётся помогать с угощением.

Но сейчас – лишь падающие из крана капли: кап, кап... И высокие тени, выстроившиеся вдоль стен. Мысли о яблоках казались далёкими, как весна. А весну она и вовсе себе не представляла.

Она отступила на шаг и посмотрела на незнакомца, на бледный отсвет его волос в полумраке. Он не мог слышать ни детских голосов, ни внезапной мелодии, что пробежала вверх-вниз по клавишам пианино, как холодок по её спине. А может, он так и не понял, когда именно погас огонь и остыла зола в этот мрачный декабрь, ветреный и такой тихий. Зато теперь она поняла. Теперь она знала наверняка. Леда отвернулась и тяжело побрела к лестнице, одиноко проходя под зелёной веточкой остролиста.

[American Prefaces, 1943]

Бабушкина нога

«Я буду танцевать на небесах!» – бодро заявила моя старая еврейская бабушка с носом, хищно загнутым, точно клюв стервятника. Как выяснилось позже, дело было на её смертном одре, возле которого уже всю толпились скорбящие. Для меня она всегда оставалась воплощением нетленного человеческого духа, и именно её историю – а точнее, историю её ноги – я и собираюсь рассказать.

Бабушку я совсем не помню – помню лишь этот стервятничий нос, пальто, подбитое перьями, а ещё то, что, по крайней мере поначалу, она обладала парой весьма целеустремлённых ног, которые таскали её по бесчисленным делам. По этой причине она, должно быть, чистейший плод моего воображения, собранный из обрывков призрачных воспоминаний. Всё, что я расскажу, основывается на сухих и неприкрашенных фактах, в этом я могу поклясться.

Я не помню даже её сына, моего отца, которого моя мать – особа гойского происхождения, причём скорее атеистка, нежели христианка, – неизменно величала

«бывшим мужем». И это при том, что он уже много лет как умер, а ведь она так легко могла бы избежать этого двусмысленного намёка сразу на два зловещих расставания – то есть не только на его кончину, но и на судебный развод, до которого дело непременно дошло бы, задержись он на этом свете чуточку дольше.

Она вечно сетовала на то, что судьба в отношении их обоих распорядилась совершенно наперекор их душевным склонностям. Когда они познакомились (а она всякий раз отсылала прочь экипаж с фамильным гербом и топала в благотворительный центр пешком, панически боясь, как бы её тайное богатство не раскусили так же, как и её тайное безумие), он преподавал музыку нищим лупоглазым детишкам, напрочь лишённым музыкального слуха.

Он носил нелепейший пристежной целлулоидный воротничок в жёлтых пятнах, как клавиши старого, облюбованного призраками пианино, – а поскольку денег на дантиста у него не водилось, а переднего зуба не доставало, улыбка его напоминала матери клавиатуру того же инструмента. И о, сколько в этом было щемящей жалости, сколько истинно человеческого! Уши его находились в вопиющей диспропорции с остальным телом, будучи до смешного огромными – не иначе как из-за его тончайшей восприимчивости к Баху и высоким материям. При всём этом он был в равной степени идеалистом и реалистом. Хороводился в зланных забегаловках для опустившихся актёров бурлеска, слепых жонглёров и покалеченных акробатов; его лучшим другом был владелец прогоревшего блошиного цирка, в прошлом – английский лорд; и он, отец, ни разу в жизни не переступал порога гостиной какого-нибудь богатенького сибарита. На самом деле его интересовало само человечество и заведомо обречённые идеи вроде Юджина Дебса и социализма. Стоит ли удивляться, что матушка была им совершенно очарована, ведь наша дорогая леди уже тогда находилась на верном пути к тому, чтобы окончательно переселиться в мир грёз, пребывая скорее вне своего тела, нежели внутри него. Лет эдак пятнадцать она провисит на полпути между небом и землёй, точно Магомет в своём гробу, хотя у врачей, разумеется, найдётся куда менее романтическое определение её умопомешательства. Кроме того, отец к тому времени уже успел обогнуть земной шар на одном из тех механизированных китобойных судов в поисках кита – а точнее, его амбры. Обстоятельство, право же, предостерегающее, ведь сама-то она уже успела влюбиться в бестелесную вечность и прочно сидела на лекарствах; однако ей виделся – или же мерещился – вольный ветер на его обветренных скулах. Он обладал таким разухабистым нравом, что немудрено было потерять от него голову.

К примеру, как она мне рассказывала, ему однажды довелось наблюдать слона, размножающегося делением надвое, – до чего безграничным, до чего трагическим было его чувство юмора. Он вечно декламировал вслух «Ошибки Моисея» Ингерсолла, даже когда единственным слушателем оказывалась канарейка.

Но во что же вылилась их супружеская авантюра? В мгновение ока он сделался богатейшим из богачей. И если прежде в сомнительных постоялых дворах его манили цирковые карлики и великаны – а ночами, пожалуй, и прекрасные блудницы, – то теперь его общество составляли известные аристократы и безвестные проходимцы из сомнительных замков.

Прежде он гонялся за китом, теперь же – гнался по всей Европе за куском средневекового кружева ценой в пятьдесят тысяч, но это другая история. Достаточно сказать, что как коллекционер он затмил бы всех, даже Брентано. Вкусы его были чрезвычайно эклектичны: любая вещь, лишь бы старинная и бесценная, ввергала его в дрожь, вожделение и безмерный восторг.

Так что моя мать, которая и сама была своего рода предметом искусства – причём изрядно запылившимся, – попросту раздвоилась, точь-в-точь как тот слон. Хотя теперь он мог составить ей хорошую партию, в их положении не осталось ни нищеты, ни поэзии.

Вот почему он и оказался выброшен на пресловутую свалку её истории в статусе бывшего мужа, а не покойного, ведь будь он мужем покойным, это было бы благородно и тянуло бы хоть на какой-то лавровый венок.

И всё же списать его со счетов – как фальшивую антикварную безделушку, досадное недоразумение – я не могу. Он был не только моим отцом, но и сыном моей парижско-еврейской бабушки – той самой оптимистки, которая на смертном одре заявила, во-первых, что будет танцевать на небесах, а во-вторых, спохватившись, добавила, что таки станцует и на моей свадьбе. А мне тогда было всего три года, и детская служила мне надёжным укрытием, как горшок цветку. О, как жаль, что среди всех таинственных ветвей нашего путаного древа мне не суждено было узнать именно эту – парижско-еврейскую. Эту самую бабушку с бородавкой на носу и парой глаз, из которых один был настоящим, а другой – стеклянным и злобным. Ведь тогда, возможно, мне не пришлось бы, уподобляясь родителям, любить неодушевлённые предметы – вплоть до заборного столба – в качестве суррогата реальности. Статуи наподобие Венеры Милосской, старые пианино, искусство ради искусства.

То еврейское, что есть во мне – несмотря на всё, что выпало на долю этого народа, – было и остаётся великим здравомыслием и способностью к обыкновенному человеческому существованию. Иными словами, из самого непостижимого факта еврейских страданий и сопутствовавшего им расчленения мне удалось почерпнуть немало силы, даже находясь в пучине собственных слабостей. Настолько много, что временами возникает чувство, будто я – всего лишь жертва заговора амбициозных психиатров и фармацевтов-шарлатанов, какой была моя мать: те усыпили её, словно Спящую красавицу в стеклянной клетке, и продержали там долгие годы. И даже искусство бальзамировщика тут не потребовалось, поскольку она не была ни мертва, ни жива – просто спала.

Всё это, разумеется, было лишь прелюдией к провенансу бабушкиной ноги.

Моя дорогая маленькая бабушка – само воплощение беспечности (не сомневаюсь, мылась она тогда нечасто) – отправилась из Парижа в Нью-Йорк третьим классом. Оказавшийся по соседству беззаботный, но глубокомысленный поляк тут же её заприметил – до того она была весела, легковесна и одержимо простодушна. Тот факт, что мой дед, этот самый поляк, уже состоял в браке, бабушку, судя по всему, нисколько не волновал: ломать голову над отдалёнными перспективами было не в её правилах, в отличие, пожалуй, от него. В Бауэри, районе, где не принято задавать лишних вопросов – быть может, в том самом квартале, где подвенечные наряды кроют как раз те, кому свадебная роскошь не по карману, – они прожили как уважаемая чета несколько весьма правдоподобных лет. Он шагу не ступал за порог, не доложив, куда направляется и когда изволит вернуться. Жалование отдавал ей, и всеми финансами заправляла она. Всё шло своим чередом. Но пару лет спустя ветреный поляк дал-таки маху. Отбыл обратно в Европу с какой-то туманной миссией – единственной и вполне благопристойной его целью был Париж, к тому же он обещал не только раздобыть икры для некоего генерала, но и привезти прекрасный гостинец моей бабушке – скажем, кусок душистого мыла. Однако, похоже, ему приспичило заехать на выходные в Варшаву, где жила та, другая женщина. Надо думать, и для неё у него был припасён кусок душистого мыла. Увы, роковое вожеление! Он нагрянул в Польшу точнёхонько в те дни, когда по кукурузным и пшеничным нивам валом прокатился погром. Двоедушного поляка растерзали на тысячи кусочков и усеяли им кукурузные поля – а может, просто оставили на съедение воронам. Как, скажите, его теперь собрать воедино – как его склеить в Судный день? От тела не нашли ни косточки. Всё это случилось задолго до нынешней привычки пересылать прах жертвы в коробке из-под сигар или обуви. Тем дело и кончилось.

В Нью-Йорке, на улице с гипсовыми невестами в витринах, на свет появился мой отец – с глазами своего отца и с тем самым, по слухам, трагическим чувством юмора.

Дорогая маленькая бабушка, сама непоколебимость, воплощение беспечности, стремительно окольцевала и схоронила ещё трёх или четырёх мужей, причём схоронила

целиком, а последний, по слухам, и вовсе оказался патриархом, страдавшим занятым глазным недугом: он читал по-гречески и на иврите как-то задом наперёд.

Многочисленных мужей она кормила доходами от скромного ресторанчика под эстакадой надземки – никакой икры для генералов, зато вдоволь отменной домашней еды для «мальчиков». Захаживали туда исключительно «мальчишки», как она их ласково звала: она знала их ещё мальчишками, так с какой стати ей отворачиваться от них теперь, когда они вымахали? Кем бы они ни выросли, они с уважением относились к её почтенному виду и знали, что никаких глупостей она не терпит. Она была для них матерью. Туда захаживали Билли Крот, разномастные бандиты, Джимми Бритва, всевозможные крупнокалиберные гангстеры, начинавшие как мелкая уличная шпана – большинству из них суждено было быть закатанными в цементные блоки где-нибудь в Катскильских горах, словно эти горы служили им кафедральным собором, их личным Ватиканом. Участь их, так сказать, была предначертана самими звёздами: всех ждал билет в один конец, всем им предстояло быть замурованными, точно древним мученикам. Подумать только: их похоронят целиком, а мою дорогую бабушку, как и деда, лишь по частям! Какая, однако, ирония судьбы.

И всё же ей был уготован личный триумф – ей предстояло танцевать на небесах, сверкая юбками, лихо вскидывая обе ноги, в кругу своих многочисленных мужей, всех, кроме того, первого, оставленного на съедение воронам. Впрочем, то, как именно она угодила на небеса, само по себе явилось случайностью – сущей оплошностью правосудия.

Беда стряслась с лучшей из женщин. Моя дорогая маленькая еврейская бабушка, осевшая в Нью-Йорке парижанка, однажды переходила людную улицу в Бауэри, как вдруг тяжёлый грузовик переехал ей правую ногу. Так, во всяком случае, мне рассказывали папины родственники, которых моя мать и знать не желала как раз из-за подобной вульгарщины. «Какого чёрта она вообще забыла на улице?» – непременно сказала бы мать, учитывая её собственные ни на что не годные ноги, вечно спрятанные под кружевным покрывалом.

Бабушку пришлось немедленно везти в больницу, как она ни сопротивлялась. «Ах вы, вороны! – вопила она на людей, сбежавшихся к ней на тротуаре – Стервятники!» И хотя боль была невыносимой, будто от тысячи игл, она наотрез отказалась ампутировать раздробленную ногу, как того требовали врачи. Иначе как бы она танцевала на небесах, со всеми своими мужьями, за исключением первого?

Решение об ампутации, пусть и скрепя сердце, приняли родственники, среди которых, надо полагать, был и мой отец. Пусть и задним уже умом, он прекрасно понимал, что идёт против её воли (даже когда она была в беспамятстве), да и против своей собственной. Но частичная целостность выглядела всё же лучше полного её отсутствия.

В соответствии со старинным обычаем бабушкину ногу с подобающей торжественностью захоронили в святом месте дожидаться воссоединения с остальным телом, когда оное последует за ногой в могилу. Утешившись подобной перспективой, бабушка смирилась с временной утратой. Она во всеуслышание объявила, что намерена прожить ещё долго и, как уже было сказано, сплясать на моей свадьбе. Она умоляла всех, следуя её примеру, не обращать внимания на эту потерю, благо она лишь временная – и как же она злилась, если замечала, что у окружающих глаза на мокром месте! Кого это они тут оплакивают, возмущалась она, её саму или её ногу? День-другой спустя (знай она заранее – ни за что б не поверила!) бабушка умерла на полуслове, прямо посреди шутки и загадки, которую как раз загадывала скорбящим, а те от души хохотали, поскольку такой женщины свет ещё не видывал.

Но теперь она была мертва. А потому, согласно древнему ортодоксальному обычаю, надлежало эксгумировать её ногу, чтобы предать её земле вместе с остальным телом, – иначе в Судный день она воскресла бы одноногой, а эта утрата, согласитесь, сильно спутала бы её загробные планы. Бедняжка! Неужто ей ни разу не приходило в голову, что ей и так уже недостаёт одного глаза?

Все раввины – побитые молью джентльмены в траурно-чёрном облачении, высоких шёлковых головных уборах и с тростями – отправились к могиле, где в коробке из-под обуви с Четырнадцатой улицы хранилась её нога. Однако, когда они вскрыли перепачканную землёй посылку, каково же было их изумление: внутри обнаружилось вовсе не то, что они искали – не многострадальная старушечья нога, а младенческая кисть, такая крошечная и синенькая, что сердце сжималось от жалости! Ничто в их религии не предусматривало подобной оплошности небесного правосудия. Насколько им было известно, в долгой истории еврейского народа – гонимого и битого с незапамятных времён – не находилось прецедента для такой катастрофы. Что же делать, о, что же делать?

И тут мой отец, этот великий знаток, наконец-то внёс сугубо практическое предложение. То, что произошло, настаивал он, вполне объяснимо, если взять в расчёт колоссальное число оплошностей правосудия и автомобильных аварий в Нью-Йорке – да и во всей Америке. Больница, работавшая в спешке и страдавшая от нехватки персонала из-за эпидемии гриппа, к тому же озабоченная проблемами живых куда больше, нежели заботами мёртвых, попросту приписала конечность не тому телу. Исправить положение – пара пустяков, полагал отец, всего-то и нужно, что совершить разумный обмен: руку на ногу. И вот отец, с его непревзойдённой галантностью, которую не могла пошатнуть ни одна катастрофа, лично отправился в хранилище бесхозных конечностей на поиски той самой многострадальной ноги. Ему не нужны ни провожатые, ни слова утешения, объявил он скорбящим, потому что к подобного рода изысканиям ему не привыкать.

Однако то, что он там обнаружил, потрясло его не меньше, чем если бы перед ним вскрыли все гробницы древних фараонов с их золотыми саркофагами, букетами сухого папируса, скарабеями, символизирующими вечность, хрупкими ладьями и убиенными слугами.

Там громоздились бесконечные ящики с потерянными органами: десятки и десятки оторванных ног, оторванных рук, даже пара туловищ и несколько мертвенно-бледных голов, точь-в-точь как у Иоанна Крестителя. Как среди стольких потерянных ног опознать ту единственную, которая ничем, в сущности, и не выделялась, кроме того, что была правой и с шишкой на суставе? Отец, будучи дотошным исследователем, уж поверьте, не готов был удовлетвориться первой попавшейся ногой. Он браковал одну за другой по той простой причине, что на них не было шишки. И всё же в конце концов, как и во множестве других его поисков, терпение было вознаграждено: нашлась нога с шишкой – ровно такой, как он помнил. Правда, была ли то правая нога или левая, выяснить он не успел. Времени не осталось: он тут же упал в обморок. Не потому, что узнал ногу, а как раз потому, что не узнал; потому что она показалась ему чем-то не от мира сего – так он рассказывал долгие-долгие годы спустя, немного сконфуженно вспоминая, как спасовал в самый ответственный момент. Но он всегда надеялся на лучшее – особенно понимая, до чего эта нога необходима лучшей из женщин, чтобы танцевать на небесах в каком-то туманном будущем, когда земные печали закончатся для всех без исключения: для верхов и низов, для гоя и для иудея. Не было никакого смысла ломать голову над более мрачными раскладами: над тем, что нога эта с огромной долей вероятности никогда ей не принадлежала; что её собственная нога сгинула в больничной неразберихе; что её в любом случае разможило до неузнаваемости; и что он не только прихватил чужую конечность, но ещё и левую вместо правой, которая так требовалась ей для безупречной координации, а в перспективе обеспечивала и весь вселенский миропорядок.

Со всеми подобающими ритуалами, под древние песнопения древних плакальщиков, в окружении восковых свечей, пред ликом всех ангелов небесных и проливающего слёзы Иеговы, нога моей дорогой маленькой бабушки была предана земле вместе с остальным телом на каком-то ветхом еврейском кладбище. Его местонахождение мне неизвестно, помню только, что располагалось оно в районе с оживлённым движением и частыми, совершенно неоправданными авариями. Достаточно сказать, что, где бы бабушка сейчас ни была, она пребывает там в целости... разве что с некоторыми оговорками. Для неё сделали

всё возможное, чтобы там, на небесах, когда отгремит земная жизнь, полнота её радости ни в чём не уступала той, какую она знала на земле.

Вполне возможно, она и сейчас там танцует.

Наверное, не всякий способен разглядеть – как удаётся это мне – всю трогательность такого отношения к утраченной ноге и всю трогательность её поисков в больничном трупохранилище. Без сомнения, многим история бабушкиной ноги покажется одновременно жуткой и бессмысленной. Но когда я вижу, как целые города стираются в пыль под ударами фугасных снарядов, в памяти неизменно всплывает бабушкина нога и то, до чего она была ей нужна для полноты бытия; вспоминается сокровенность человеческого тела именно как тела целого и невредимого, пусть и не на земле, так хоть на небесах.

Неужели нам и впрямь стоит посвящать себя этому великому занятию – разрывать друг друга на куски? В каком-то смысле я ищу ту же потерянную ногу – да и всё человечество ищет именно её. Ищу доказательство того, что человеческий дух, как и тело, нетленны, что их невозможно уничтожить! Ищу потерянную ногу.